

Предисловие

Известный фотограф Эдгар Брюханенко, который снял многих иркутских литераторов, сам был интересным рассказчиком и даже издал книгу собственных интересных историй, но никогда не говорил о своей семье, родственниках. Между тем, среди них были авторитетные врачи, биологи, математики, дипломаты, литераторы. С мамой и сестрой они стали иркутянами в декабре 1941 г., куда их направили в эвакуацию из Москвы. Мать работала в «горячем цехе» Иркутского завода тяжёлого машиностроения им. Куйбышева, дети учились в школе. В ноябре 1942 г. им пришла похоронка из Сталинграда — там погиб их отец, имя которого ныне увековечено на Мамаевом кургане. Так они и остались в Иркутске, время от времени навещая своих московских родственников.

Ольга Дмитриевна Брюханенко — тоже известный иркутский врач — вспоминает, что в квартире их тётки Натальи на Беговой стояло большое кожаное кресло, о котором хозяйка говорила: «Это — кресло Маяковского», и показывала его книжку с автографом:

*«Глаз
в Госиздате
останавливать
не на ком,
кроме как
на товарище
Брюханенко.*

В.М.».

Сегодня Ольга Дмитриевна бережно хранит семейный архив, в котором вдруг открылась интересная история дружбы их родной тётки Натальи Александровны Брюханенко с Владимиром Владимировичем Маяковским.

В пожелтевшей рукописи Натальи Александровны мы читаем:

«Несколько слов о себе. Моя семья — московская семья средней интеллигенции. Отец мой был преподавателем естествознания, мать — начальником гимназии и учительницей французского языка. Родители разошлись, когда мне было пять лет, а когда мне исполнилось одиннадцать, — умерла мама. Это было в июле 1917 года. Я попала в семью тётки, маминой сестры, но в девятнадцатом году она отдала меня и брата в детские колонии.

Жили мы в первые годы революции очень неважно. Ученье было поставлено плохо. Я, например, никогда в жизни не учила географию. Она как-то выпала из школьной программы тех лет. Помню, как иногда приходилось зарабатывать деньги разгрузкой овощей из товарных вагонов. Причём если мы разгружали репу, её же одну и ели целый день. Это было в девятнадцатом году. С хлебом было совсем плохо.

Окончив на «отлично» школу, — я славилась знанием литературы и даже делала какой-то публичный доклад на школьной конференции о творчестве Некрасова, — я поступила в Московский университет на литературное отделение».

В этой «буче — боевой, кипучей» первых лет Советской власти молодая студентка познакомилась и подружилась с Владимиром Владимировичем.

В 1952 г. Музей Маяковского обратился к Наталье Александровне с просьбой написать свои воспоминания о советском поэте. Они были восприняты неоднозначно, поэтому на обороте последней страницы рукописи Наталья Брюханенко добавила постскриптум:

«Некоторые читатели моей рукописи укоряли меня, что я слишком много пишу о себе и уделяю внимание всяким мелочам вроде того, как я была одета и т. п.

В Музее В.В. Маяковского мне сказали: через 50 лет будут пьесы о Маяковском, будут фильмы, и понадобится знать о нём и о его окружении все бытовые мелочи. Пишите решительно обо всём, что помните. О Маяковском как о поэте уже написано много, а вот о нём как о человеке очень мало. Вот так я и написала обо всём, что помню. Без вранья и без прикрас».

И хотя специалисты-литературоведы подмечают точность психологического портрета В.В. Маяковского, ценные свидетельства о его литературных взглядах и вкусах, воспоминания Натальи Брюханенко долгие годы лежали в архиве музея. Лишь в 1973 г. Константин Симонов к 80-летию поэта использовал пару страниц при составлении сборника воспоминаний «Маяковский делает выставку» и в 1983 г. литературно-художественный и общественно-политический журнал «Таллин» наконец их опубликовал.

В этом же 1983 г. Наталья Александровна побывала в Иркутске и на Байкале, куда её давно приглашали племянники — Эдгар и Ольга. Незадолго до смерти (1984 г.) она передала им свои рукописи и документы, которые сегодня Ольга Александровна Брюханенко подарила Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

В первый раз я увидела и услышала Маяковского в Политехническом музее с чтением «150 миллионов». Это было в двадцатом году, мне было пятнадцать лет. Совершенно обалделые от восторга, мы шли компанией морозной ночью по Лубянской площади и дальше вниз к Никитской и орали строчки стихов, запомнившиеся с первого раза. Тогда я знала наизусть не только «Левый марш» и «Необычайное приключение...», но и большие куски из «Облака в штанах» и читала их, стараясь подражать манере чтения самого Маяковского.

Самыми главными для меня в те годы были проблемы — новый быт и новые стихи.

Да, были другие времена! Теперь учительница в классе читает стихи Маяковского притихшим детям. Нам же приходилось бороться с учителями за стихи Маяковского.

Я, девчонка, заставляла слушать и «признавать» его стихи как можно больше народу — школьников, соседей, даже свою бабушку. Строчками стихов Маяковского мы выражали свои чувства. «Облако в штанах» мы считали высшим достижением всей мировой литературы. На каждом публичном выступлении мы ждали его новых стихов, в газете искали его фамилию, ждали выпуска его новых книг и афиш о новом выступлении. Но мы были очень бедны. С каким трудом мы покупали эти книжки или билеты на его вечера!

Летом 1923 года я держала экзамен в Литературный институт, где ректором был В.Я. Брюсов, и одновременно подала заявление о приеме на литературное отделение в университет. Вступительный экзамен принимал у меня сам Валерий Яковлевич, и я этот экзамен выдержала. Принята я была и в институт, и в университет, но предпочла учиться в университете.

Зима. В студенческом клубе на Моховой, в помещении бывшей университетской церкви, состоялся вечер Маяковского. В большинстве народ стоял на ногах, некоторые взобрались на сцену и сидели вокруг Маяковского, у его ног.

Молодёжь стояла толпой, в кожаных куртках, солдатских шинелях, как будто это был уличный митинг.



Н. Брюханенко

И вот, на фоне церковного золота, Маяковский начал читать «Рабочим Курска». Эти новые стихи молодёжь восприняла бурно и восторженно.

В тот вечер в клубе, помню, Маяковский читал «Левый марш», и слова «Левой! Левой! Левой!» вся толпа подхватывала хором.

Молодёжь всегда восторженно слушала новые стихи Маяковского и с нетерпением ждала последней части встречи, — «ответы на записки». Остроумные, уничтожающие политических и литературных врагов ответы повторялись потом нами и рассказывались десятки раз.

Как назвать мои взаимоотношения с Маяковским в первое время после нашего знакомства? Я не могу назвать их дружбой, потому что слишком была велика разница между нами. «Сам» Маяковский, и рядом я — никто.

Когда он познакомился со мной и явно начал ухаживать, мне это и нравилось, и не нравилось. Уж очень это было тогда не принято у нас, среди студенческой молодёжи.

Маяковский любезен, внимателен, он говорит мне только «Вы», ласково переставляет мое имя на «Наталочку». Он пропускает меня вперед в дверь, подаёт мне пальто. Это были для меня любезности неслыханные и невиданные. Какая девушка осталась бы к этому равнодушной?

Маяковский был всегда просто, но как-то очень красиво и элегантно одет. Меня, правда, «шокировала» его фетровая шляпа. С тростью я ещё как-то мирилась, но когда вместо кепки Маяковский брал шляпу, я умоляюще глядела на него или просила: «Не надо шляпу...».

Маяковский научил меня и тому, что одеколон не роскошь, и тому, что цветы не мещанство, и что можно и даже нужно иногда ездить на извозчике и в автомобиле... Мне до того казалось, что все это «буржуазные предрассудки». Ведь тогда был нэп, а я была бедная студентка.

На первом курсе университета я получала государственную стипендию — десять рублей в месяц. Обедали мы в студенческой столовой, и обед тогда стоил десять копеек.

Перейдя на второй курс, я поступила на службу в Госиздат. Лекции в университете были в то время в вечерние часы, и многие студенты, вроде меня, днем работали.

1926 год.

Я работаю в библиотеке Госиздата на Рождественке (теперь это улица Жданова, а на месте снесённого здания Госиздата — «Детский мир»). Мне двадцать лет, я очень деловая и занятая девушка. Интересуюсь только литературой и больше всего люблю стихи Маяковского. Об этом знают мои сослуживцы, и когда он бывает в Госиздате, кто-нибудь, приходя в библиотеку, сообщает мне: «Маяковский здесь». И я бегаю незаметно посмотреть на него.

Однажды он рассердился на секретаршу приёмной за то, что она не пустила его в кабинет к заведующему, закричал, что ему «надоела эта политика прифронтальной полосой», ударил тростью по столу. Все об этом рассказывали как о скандале. А мне это как раз понравилось.

Много позже я узнала, что после таких случаев Маяковский очень огорчался, что он не любил не только скандалить, но даже громко разговаривать. Я же всегда говорила очень громко — и в доме, и на улице, — и он часто останавливал меня:

— Я ведь лирик. Надо со мной говорить тихо, ласково.

Но всё это было позже. И вот в мае двадцать шестого года в Госиздате я и познакомилась с Маяковским — вернее, он познакомился со мной.

Как-то я пробегаю по лестнице госиздатовского коридора. Навстречу мне Маяковский. Он обращается ко мне:

— Товарищ девушка!

Я остановилась. Я польщена и, конечно, очень волнуюсь, но прямо смотрю ему в глаза и стою спокойно, как ни в чём не бывало. Маяковский начинает разговор и сразу спрашивает меня:

— Кто ваш любимый поэт?

Это было очень неожиданно. Такой прямой вопрос ошеломил меня, но я мгновенно поняла, что не отвечу ему — «Вы», и сказала спокойно:

— Уткин.

Тогда он как-то очень внимательно посмотрел на меня и предложил:

— Хотите, я вам почитаю свои стихи? Пойдёмте со мной по моим делам и по дороге будем разговаривать.

Я соглашаюсь. Забегав в библиотеку, под каким-то предлогом отпросилась с работы и ушла.

Маяковский ждал меня у выхода, и мы пошли по Софийке по направлению к Петровке. На улице было светло, тепло, продавали цветы. Маяковский держит себя красиво и торжественно. Я шагаю рядом очень радостная. Я ведь иду с любимым поэтом, знаменитым человеком, очень приветливым, любезным и замечательно одетым. Я горда и счастлива. Это очень приятно вспоминать!

На Петровке мы зашли в кафе, там Маяковский встретился с Бриком. Знакомя нас и показывая на меня, Маяковский сказал:

— Вот такая красивая и большая мне очень нужна.

Маяковскому нравилось, что я высокая. Он всегда это подчеркивал. Впоследствии кто-то из его знакомых увидел меня на улице и сказал Маяковскому, что не такая уж я и высокая, как он рассказывал. Маяковский ответил:

— Это вы её, наверное, видели рядом с очень большим домом.

На извозчике приехали на Лубянский проезд, где в доме № 3, в квартире № 12 у Маяковского была маленькая комната, которую он представил мне как «Редакцию ЛЕФа». В комнате — письменный стол, телефон, диван, шкаф. В углу камин, а на нём верблюдик какой-то металлический.

Маяковский угостил меня конфетами и шампанским и действительно, как обещал, достал свои книжки и стал мне читать — тихо, почти шепотом — свои стихи. Это было для меня странно: Маяковский — и шепотом! Читал он тогда «Севастополь — Ялта», «Тамара и Демон», а после чтения подарил мне ту самую книжку, по которой читал («Только новое»), предварительно исправив опечатку. Подарил мне и берлинское издание 1923 г. «Маяковский для голоса» в оформлении Эль Лисицкого. Эта книжка, с автографом, и сейчас у меня.

Взяв со стола какие-то бумаги, Маяковский вышел со мной из квартиры.

Вскоре он уехал из Москвы. Потом я заканчивала университет, потом полгода болела тифом. Получилось так, что встретились мы вновь лишь через год, в мае двадцать седьмого года.

1927 год.

В день, когда Маяковский получал в Госиздате двадцать авторских экземпляров только что вышедшего из печати пятого тома собрания сочинений, я неожиданно наскочила на него в бухгалтерии. Мы поздоровались, и он стал упрекать меня за то, что я прошлым летом от него убежала, «даже не помахав лапкой».

Он пригласил меня в тот же день пообедать с ним. Я согласилась и обещала больше от него не бегать. И вот с этого дня мы стали встречаться очень часто, почти ежедневно.

Ровно в половине пятого я кончала работу (тогда уже помощника редактора отдела агитпроплитературы), переходила через улицу в ресторан «Савой» (теперь он называется «Берлин»), встречалась с Маяковским, и мы с ним вместе обедали. Потом катались на машине, ходили в кинотеатры.

Как-то раз он повёл меня в подвал дома в Пименовском переулке, где был так называемый «Литературный кружок». Там он играл на бильярде, а я красовалась на каком-то высоком табурете, какие бывают в барах.

*«Наталочке Александровне
гулять
встречаться
есть и пить*

*Давай
держась минуты сказанной*

*Друг друга
можно не любить
но аккуратным быть обязаны.*

Вл. Маяковский».

И заставил меня подписаться: «Согласна. Н. Брюханенко. 11/VII–27».

Этот пятый том был третьей книжкой, подаренной мне Маяковским с автографом. А четвертая книжка с автографом — это первый том собрания сочинений (он вышел позже пятого, в 1928 г.). На нем надпись: «Наталочке — Маяковский» и цветочек, нарисованный его рукою.

Наконец мы поехали на дачу в Пушкино вместе, в субботу, после моей работы, с тем чтобы я пробыла там до утра понедельника. Я взяла почитать из библиотеки только вышедшую из печати книжечку стихов Уткина.

Маяковский купил в вокзальном киоске несколько номеров свежих журналов. Когда мы расположились в вагоне читать и Маяковский увидел у меня Уткина, он спокойно и молча взял у меня из рук книжку и выбросил её в окно — так, не задумываясь, выбрасывают в окно вагона окурки.

Сам он во всех журналах — «Новый мир», «Красная новь» — разрезал, вернее разрывал пальцем, только отдел поэзии, прочитывал стихи и выбрасывал журнал в окно. До дачи мы довезли только номера «Нового ЛЕФа».

К газетам у него было иное отношение. Газет он покупал столько экземпляров, сколько было присутствующих — чтобы никому не ждать.

Пока на даче готовили ужин и ставили самовар, мы пошли гулять в сторону Акуловой горы. Маяковский рассказал мне, что это и есть та самая Акулова гора, где они жили на даче в двадцатом году. Потом он прочёл мне «Солнце». Мы шли, и читал он на ходу. Читал тихо и как-то повествовательно, совсем непохоже на то, как читал на своих вечерах, при публике.

Помню, когда мы ехали в поезде из Пушкино в город, Маяковский всю дорогу, негромко, но выразительно чеканя, твердил одни и те же строчки:

*И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий...*

Он как бы примеривал их на слух и только после записал в книжечку.

Помню, как Маяковский с кем-то играл в городки и как мы ходили в лес собирать грибы. Маяковский ходил по лесу очень сосредоточенно, ни с кем не разговаривая. Изредка останавливался и тростью ковырял листья и землю.

Как-то я собиралась ехать на дачу в Очаково к родственникам. Узнав о моих намерениях, Маяковский подозрительно отнёсся к моей поездке и настоял на том, что поедет вместе со мной. Мы поехали. Родственники были просто ошеломлены,

увидав со мной «самого Маяковского». Для них он был просто футурист, желтая кофта. Сидим на терраске, разговаривать совершенно не о чём. Вдруг Маяковский предложил:

— Хотите, я прочту свои стихи?

Все обрадовались этому. Но не из-за стихов, потому что они их не любили, а просто как выход из создавшегося положения. И вот Маяковский на маленькой дачной терраске этим случайным слушателям читал стихи, как на большой эстраде для большой аудитории.

Пока он читал, стало совсем темно. И это был хороший предлог закончить чтение и поторопиться с уходом на станцию.

Поездка оказалась такой нелепой. А Маяковский был очень доволен. В поезде он утешал меня, был ласков и добр.

В конце июля 1927 г. Маяковский собрался в лекционную поездку в Харьков, Луганск, а затем в Крым. Он пригласил меня ехать с ним вместе «за компанию». Но я не могла получить в Госиздате отпуск до 15 августа. Да и вообще не решалась на такую поездку. Он уехал.

2 августа получаю от него телеграмму из Севастополя:

«СРОЧНАЯ МОСКВА ГОСИЗДАТ БРЮХАНЕНКО ОЧЕНЬ ЖДУ ТОЧКА ВЬЕЗЖАЙТЕ ТРИНАДЦАТОГО ВСТРЕЧУ СЕВАСТОПОЛЕ ТОЧКА БЕРИТЕ БИЛЕТ СЕГОДНЯ ТОЧКА ТЕЛЕГРАФЬТЕ ПОДРОБНО ЯЛТА ГОСТИНИЦА РОССИЯ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ МАЯКОВСКИЙ».

К этому времени я по нему соскучилась. Получив телеграмму, я решила ехать. В этот день билет купить не удалось, а 4-го получаю опять срочную телеграмму из Ялты:

«ЖДУ ТЕЛЕГРАММУ ДЕНЬ ЧАС ПРИЕЗДА ТОЧКА ПРИЕЗЖАЙТЕ СКОРЕЕ ПРОБУДЕМ ВМЕСТЕ ВЕСЬ ВАШ ОТПУСК ТОЧКА УБЕЖДЕННО СКУЧАЮ МАЯКОВСКИЙ».

Наконец я купила билет, телеграфировала Маяковскому о выезде и 13 августа выехала в Севастополь.

Поезд прибывает в 7 часов утра. Я узнала это в дороге и поэтому не ожидала встречи. Подъезжаю к Севастополю. Раннее утро, а по перрону шагает Маяковский. Загоревший, красивый, такой спокойный и довольный. Мы очень радостно встретились. Оказывается, Маяковский ещё накануне приехал из Ялты, чтобы встретить меня. Он был в серой сорочке с красным замшевым галстуком, в серых фланелевых штанах. Рядом с ним я выглядела очень скромно, в жёлтом платье с какими-то вышивками.

Маяковский нанял специально для нас двухместную машину до Ялты.

Дорогой рассказываю мелкие московские новости.

Маяковский рассказал, что заканчивает работу над «Октябрьской поэмой». И вот тогда, дорогой, я впервые услышала строки:

В духовках Крыма

гóры — жаркóе¹.

¹Читал он именно так. В опубликованном тексте:

«В духовках солнца

горы

жаркóе».

Воздух

цветы рассиропили.

Наши

с песней

идут от Джанкоя,

сынятся

с Симферополя.

Маяковский предупредил меня, что он ежедневно выступает с докладами-разговорами и надеется, что я буду выступать вместе с ним.

— Каким образом? — пугаюсь я.

— Вам будет легче. Вы будете присутствовать и свистеть или аплодировать в зависимости от того, будет вам нравиться или нет.

В Ялте для меня была приготовлена комната в гостинице «Россия». Это была самая большая гостиница Ялты, на набережной. Маяковский жил в номере с балконом, с видом на море, я — в конце коридора, в обыкновенном.

В первый день приезда Маяковский, В.М. Горожанин и я пошли гулять по набережной. Я чувствовала себя плебеем, попавшим в высшее общество. Скромность моей одежды немного смущала меня, а в разговоре я не могла принять участия. Разговор шёл о деле Дрейфуса и об Анатоле Франсе.

Маяковскому хотелось доставить мне как можно больше удовольствия, но я от всего отказывалась. Наконец, почти насильно он купил мне шёлковую материю и жёлтую шёлковую шаль. И там же, в Ялте, мне сшили платье.

Утром мы с кем-нибудь из знакомых завтракали в номере у Маяковского, затем у него начинался рабочий день, а остальные уходили гулять на пляж. Иногда ещё до завтрака Маяковский один ходил покупать газеты, папиросы и фрукты.

До обеда Маяковский работал в гостинице, сидя за столом на балконе или расхаживая из комнаты на балкон и обратно. Он читал газеты и всякие рукописи, которые ему присылали, и писал. Встречался с режиссером Смоличем, с которым обсуждал постановку «Октябрьской поэмы» в Ленинграде к десятилетию революции. Встречался с разными товарищами из редакций.

Я же вела образ жизни курортницы, ходила купаться и загорать на пляже. К обеду мы встречались в ресторане-поплавке в конце набережной.

В ожидании обеда Маяковский обычно рисовал на бумаге, которой вместо скатерти были покрыты столы. Особенно часто рисовал лошадок, у которых пар валил из ноздрей. И эти-то рисунки Маяковского ежедневно выбрасывались!

Всегда очень щепетильный в отношении чистоты, Маяковский и здесь требовал, чтобы фрукты, помидоры и даже бокалы ещё раз специально для нас перемывались кипяченой водой. За обедом мы пили белое вино, подливая его в лимонад.

После обеда бывали какие-то часы отдыха перед ежедневными вечерними выступлениями. В эти часы мы гуляли, иногда приходили гости.

Но чаще всего в эти послеобеденные часы Маяковский играл на бильярде. Меня он никуда от себя не отпускал. Чтоб мне не было так уж скучно глядеть на игру, мне покупались персики и виноград, выдавалась какая-нибудь газета. Сначала мне было интересно смотреть на игру, и я даже стала разбираться в «пирамидах» и «американках». Но игра шла часами. Играл он азартно и подолгу, пока не являлся его администратор Лавут и настойчиво напоминал, что пора ехать.

Как-то, обыграв маркера, Маяковский радостно объявил:

— Обыграть маркера на бильярде — это все равно что в музыке переиграть Шопена.

П.И. Лавут устраивал вечера выступлений так. Сначала по городу или курортному посёлку расклеивались афиши, на которых огромными буквами было напечатано одно слово: «МАЯКОВСКИЙ». Когда все узнавали о его приезде и, заинтересованные, ждали — где? и когда? — появлялась вторая афиша с точным указанием дня, места выступления и с тезисами разговора-доклада.

Билеты всегда были полностью распроданы. Да ещё сколько людей приходило слушать по пропускам, по запискам! Тогда в Крыму каждое выступление начиналось так. Маяковский выходил на эстраду, рассматривал публику, снимал пиджак, вешал его на стул. Затем вынимал из кармана свой плоский стаканчик и ставил его рядом с графином воды или бутылкой нарзана.

Из публики сразу начинались вопросы и летели записочки. «Как вы относитесь к Пушкину?», «Почему так дороги билеты на ваш вечер?».

— А женщины больше любят Пушкина! — выкрикивает кто-то.

Маяковский спокойно:

— Не может быть! Пушкин мертвый, а я живой.

Темы разговора были: против есенинщины, против мещанства, против пошлятины, черёмух и лун. За настоящие стихи, за новый быт.

Во втором отделении Маяковский читал стихи. Каждый раз обязательно «Сергею Есенину» и «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Помню, читал еще «Крым», «Ужасающая фамильярность», «Канцелярские привычки», «Дела вузные, хорошие и конфузные», «Пиво и социализм», «За что боролись». Иногда «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».

Сначала Маяковский комментировал стихи, — объяснял, например, откуда такое выражение, как «ваше слово слюнявит Собинов и выводит под березкой дохлой...». Как помнится, в Художественном театре в годовщину смерти Есенина был вечер. Маяковскому всё там — и декорации, и пение — показалось пошлым, недостойным памяти поэта. Отсюда и эта ирония в стихах «Сергею Есенину».

Однажды в Ялте, в городском саду, Маяковский выступил на открытой сцене. Рядом шумело море. Вдруг поднялся сильный ветер, срывая листья с деревьев, закружил их по эстраде и разметал бумажки на столе.

— Представление идёт в пышных декорациях, — торжественно сказал Маяковский. — А вы говорите: билеты дорогие!

После выступлений в Симеизе, в Алупке надо было ещё возвращаться в Ялту и ехать на машине час или два, и Маяковский очень уставал от этих ежедневных выступлений и поездок.

Мне запомнилось, как мы возвращались в открытой машине из Симеиза.

У Маяковского карманы были набиты только что полученными записками. Среди них были и записки от недоброжелателей, и это, как всегда, огорчало его. Он ехал очень усталый, угрюмый. Мы молчали. Он — оттого, что был мрачен, а я потому, что чувствовала себя очень счастливой. Только что я наслушалась любимых стихов, перед моими глазами было глубокое звёздное небо, и так хорошо было вокруг, что я не хотела мешать Маяковскому своей радостью. Как несправедливо получалось: он давал людям столько бодрости и счастья, а сам был несчастлив. «Как выдоенный» — говорил он о себе.

Каждый день с утра Маяковский прочитывал все газеты, просматривал новые журналы. Помню, как он купил и прочитал только что вышедшие «Воспомина-

ния» Авдотьи Панаевой. И ещё все мы читали купленные им в Ялте «Письма А.П. Чехова». Чтением, правда, особенно некогда было заниматься, и эти шесть томов писем Чехова приехали со мной в Москву и до сих пор в моей библиотеке.

Маяковский любил литературные игры. Заставлял всех присутствующих состязаться в переделывании пословиц, предлагал сочинять новые слова. И, конечно, ни у кого это не выходило так ловко, как у него. Например, слово «кипарисы» он, переиначивая, твердил часами: ри-па-ки-сы, си-па-ки-ры, ри-сы-па-ки и т.д. Так же бесконечно крутил слова «папиросы», «мемуары». Любил повторять, цитировать, переиначивать. Шагает и твердит:

*Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я...*

И хотя у Пушкина «век уж мой измерен», Маяковский всегда читал «жребий», а как-то добавил с мечтательностью: «Если бы я написал такие стихи!».

Часто слыхала я от него и светловскую «Гренаду».

В один из августовских вечеров Маяковский выступил в Ливадии в санатории для крестьян. Тема разговора-доклада та же, что и на остальных вечерах: вопрос формы и содержания, новый быт. Читал он там и «Письмо Горькому» и «Сергею Есенину», и сатирические стихи. Он интересовался, понятны ли его стихи аудитории. Говорил о том, что он хочет, чтобы его понимали и рабочие, и крестьяне, вся молодёжь.

26 августа были мои именины. С утра я получила от Маяковского такой огромный букет роз, что он смог уместиться только в ведре. Но это было ещё не всё. Когда мы вышли на набережную, Маяковский стал заходить во все магазинчики и покупать мне одеколон, самый дорогой и красивый, в больших витых флаконах. Подошли к цветочному киоску, он стал скупать цветы.

— Один букет — это мелочь, — сказал он. — Мне хочется, чтобы вы вспоминали, как вам подарили не один букет, а ОДИН КИОСК цветов и ВЕСЬ одеколон города Ялты.

«Октябрьскую поэму» Маяковский закончил в Ялте до моего приезда, и рукопись была уже отправлена в Москву. Но именно в этот день, 26 августа, он дал телеграмму о том, что название этой поэмы будет «ХОРОШО!».

В конце августа Маяковский должен был выступать в Симферополе и Евпатории. Я согласилась ехать с ним туда с условием, что по возвращении мы вместе поедем в Минеральные Воды, куда мне очень хотелось. В Симферополе мы встретили художника Натана Альтмана и Ирину Щёголеву. Альтман уезжал в Москву, Ирина его провожала, а потом вместе с нами поехала в Евпаторию. В вагоне было пусто и темно. Всю дорогу Маяковский и Ирина пели, устроив нечто вроде конкурса на пошлый романс.

*Вот вспыхнуло утро, румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит...*

— пели они, стоя у открытого окна. Это было очень ново и интересно для меня. Чего только они не вспомнили! «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом», «Белой акации гроздь душистые вновь аромата полны»...

В начале сентября мы выехали из Ялты на пароходе в Новороссийск, чтоб от туда ехать на Минеральные Воды. Ночью в море разразился сильнейший шторм. В Новороссийске мы узнали из газет, что в предыдущую ночь в Крыму было землетрясение.

Мы поселились в гостинице «Гранд-Отель» в Кисловодске. Маяковский выступил в Пятигорске и Ессентуках и заболел гриппом. Больной он становился очень мнительным, и у него сразу делалось плохое настроение. Когда к нему пригласили доктора Абазова, Маяковский стал спрашивать, не туберкулез ли горла это, не рак ли пищевода. Тот разуверял его, успокаивал, но Маяковский лежал очень грустный и писал телеграммы в Москву.

13 сентября, в день нашего отъезда в Москву, он всё же выступил в Кисловодске. В Москву в одном вагоне с нами ехал Николай Ильич Подвойский, бывший в дни Октябрьского восстания председателем Военно-Революционного комитета в Петрограде и дважды упомянутый в 6-й главе поэмы «Хорошо!». Подвойскому поэма очень понравилась, он сделал только несколько замечаний и внёс поправку: председатель не «реввоенсовета», а «реввоенкомитета», что Маяковский и исправил в рукописи. Но в первом издании он не успел это выправить, так как книжка уже печаталась в Госиздате.

В Москву мы вернулись 15 сентября. Маяковский стал читать поэму «Хорошо!», проверяя впечатление на разных аудиториях. Я была на чтении в «Комсомольской правде» и в Политехническом музее, и всюду успех был огромный.

Помню, осенью 27 года я была с Маяковским в кино на «Октябре» Эйзенштейна. Маяковскому картина не понравилась, он сказал, что это — «Октябрь и вазы», потому что половину картины занимают люстры и вазы и прочие красоты Зимнего дворца.

В первую годовщину смерти Маяковского был вечер его памяти в Политехническом музее. В закулисной комнате собралось много его друзей и знакомых, и Лев Кассиль начал нас всех спрашивать, кто что помнит о выступлениях Маяковского в этом зале. Все мы стали рассказывать Кассилю об остроумных репликах Маяковского, о его ответах на записки. Кассиль всё записал и вскоре опубликовал в своих воспоминаниях «На капитанском мостике». С задиравшими его во время выступлений Маяковский расправлялся беспощадно. Не буду повторять некоторых реплик и фактов, подсказанных мною Льву Абрамовичу, приведу вспомнившиеся.

На одном вечере кто-то вышел на эстраду ругать Маяковского. Владимир Владимирович спросил:

— Вы чем думаете?

Тот, растерявшись, ответил:

— Головой.

Тогда Маяковский сказал ему:

— Ну и садитесь на свою голову.

На другом вечере-диспуте в Политехническом какой-то каверзный вопрос задала сидевшая на эстраде молоденькая девушка. Маяковский ответил всем, а под конец, указывая на эту девушку, произнес с пафосом:

— А на седины старика не поднимается рука.

Звал меня Маяковский большей частью очень ласково — Наталочка. Когда представлял кому-нибудь, говорил: «Моя товарищ-девушка». Иногда, хваля меня кому-нибудь из знакомых, добавлял: «Это трудовой шенок». Часто он мне говорил:

— Вы очень симпатичный трудовой шенок, только очень горластый шенок. — И добавлял с укором: — Ну почему вы так орёте? Я больше вас, я знаменитей вас, а хожу по улицам совершенно тихо.

Мне запомнился кусочек разговора «о любви». Зимой 27 года мы шли поздно вечером по Лубянской площади, возвращаясь с вечера, где Маяковский читал «Хорошо!» и говорил о политической поэзии. Он провожал меня домой. Шёл, как всегда, с толстой палкой, волоча её по земле у себя за спиной. Идёт, гоняет папиросу из одного угла рта в другой. В этот день я вернулась из Харькова, куда ездила в гости к одному знакомому. Маяковскому это не нравилось. Он шёл грустный и тихо говорил мне:

— Вот вы ездили в Харьков, а мне это неприятно. Вы никак не можете понять, что я все-таки л и р и к. Дружеские отношения проявляются в неприятностях...

Я оправдывалась, но я его не совсем понимала. Маяковский сказал:

— Я люблю, когда у меня преимущество перед остальными...

Летом 28 года Маяковский лежал больной гриппом в своей маленькой комнате в Гендриковом переулке. Бриков не было в Москве, навещали его немногие. По телефону он позвал меня к себе:

— Хоть посидеть в соседней комнате... в соседней — чтоб не заразиться.

Я пришла его навестить. Он был очень грустный, и разговаривать нам как-то было не о чем. Как в Кисловодске во время болезни, он был мрачный и мнительный и даже от простого гриппа сразу делался таким большим, беспомощным зверем. Когда подали обед, он образно и гиперболочно, как всегда, сказал:

— Представьте себе огромного человека, который ест роаяль и, как куриные косточки, обсасывает и выплевывает клавиши.

Этой весной мои лирические взаимоотношения с Маяковским порвались.

Окончив университет, я уехала в Среднюю Азию, Маяковский — за границу, мы не виделись с ним несколько месяцев, а после я стала видеть его гораздо реже.

К тому времени я подружилась с Бриками и Катаньянами, со всеми друзьями и знакомыми Маяковского. Вернувшись из Ташкента в Москву в конце декабря, я сразу же позвонила в Гендриков — 2-35-79 — и в тот же вечер была приглашена слушать чтение новой пьесы «Клоп» у них на квартире.

Иногда я бывала у Маяковского на Лубянском проезде, где он по-прежнему угощал меня розмарином и шампанским, и мы дружески разговаривали...

21 февраля у меня с Маяковским был такой разговор по телефону.

— Когда увидимся? — спрашиваю я.

— Сегодня я занят, — говорит он, — но завтра приду к вам, помахая билетами, и мы пойдём в кино, потом на концерт, а потом в театр — сначала в Большой, потом — поменьше, потом — в самый маленький.

Я смеюсь:

— Ладно. Жду.

На следующий день, как всегда верный слову и аккуратный, Маяковский заехал ко мне с билетом в театр Корша на спектакль «Проходная комната». Приехал он усталый и расстроенный. Когда я сказала, что мне очень нравятся его стихи о культурной революции «Сердечная просьба», напечатанные тогда в «Комсомольской правде», он сказал:

— вещь-то хорошая, а из-за неё столько шума теперь. Нарком Луначарский написал официальное письмо с протестом. Я не думал, что про министров нельзя писать. Тем более, предварительно звонил Луначарскому, и мне передали от его имени, что он на стихи не обижается... — И добавил: — Я все время считаю, что я заодно с советской властью. И о культурной революции написал не против, а за неё.

В театре мы сидели где-то в первых рядах, на виду у всех. Когда опускался занавес после первого действия, Маяковский начал громко свистеть. В публике зашипели. Тогда он встал во весь рост и засвистел ещё громче, заглушив аплодисменты зала.

После третьего действия мы ушли, не досмотрев пьесу до конца. Он шёл по Петровке, бормотал, останавливался и писал. Записывал, поднося к свету магазинных витрин альбомчик с розовенькими и жёлтыми листочками, как у гимназисток, для стихов. В начале марта в печати появилось «Даёшь тухлые яйца!» («Проходная комната»).

В июне 1929 года на Тверском бульваре открылся книжный базар. Около одной из палаток толпа: там торгует Маяковский! Все книжки он продаёт со своими автографами. Зачеркивает на книге «Чарльз Диккенс» и надписывает: «Владимир Маяковский».

— Ведь так вам приятней, с автографом автора? — спрашивает он, театральным жестом подавая книгу покупателю.

Все кругом в восторге и раскупают книги нарасхват. На своей фотографии в первом томе собрания сочинений он подрисовывает шевелюру и объясняет, что теперь он «нестрижатый» и чтоб был, значит, больше похож.

На книге П.С. Когана «История западной литературы» Маяковский надписывает:

*Тихо и растроганно
всучил безумцу Когана.*

Но читает надпись вслух, смеются все и даже осмеянный «безумец»...

В августе 1929 года я встретила с Маяковским в Евпатории. Я застала его в номере гостиницы и пошла с ним на его выступление в санатории «Таласса».

Эстрада-раковина стояла в саду, и к ней по узеньким рельсам подвезли на кроватях-каталках санаторников. Это были больные костным туберкулёзом, не встававшие месяцами, а иногда и годами. Под конец обычного разговора-доклада Маяковский начал читать «Сергею Есенину». Дойдя до строк

*Это время —
трудновато для пера,*

Маяковский как бы осекся. Дальше идут строки:

*но скажите
вы,
калеки и калекши...*

И хотя здесь подразумеваются не физические, а моральные калеки, он не стал говорить этих строк людям, прикованным к постели. Он пропустил эти строчки и сразу перешёл к следующим, не пожалев рифмы:

*но скажите,
где,
когда,
какой великий
выбирал путь,
чтобы протоптанной
и легче?*

В Евпаторию я приехала из Кутаиси, где Маяковский учился когда-то в гимназии. Он расспрашивал меня, что я там видела, что мне понравилось, но мы никак не могли с ним сговориться, так как он всё называл старые названия улиц и площадей, а я их не знала, а знала только новые. Выступая в этот вечер перед публикой, он сказал:

— Вот никак не могу с одной знакомой девушкой поговорить о Кутаиси, так как «каждый дюйм бытия земного профамилен и разыменован». Сейчас прочту вам про это стих.

И прочел «Ужасающую фамильярность».

Через месяц в Москве на квартире в Гендриковом Маяковский читал в первый раз новую пьесу — «Баня». Это было двадцатого сентября.

Читал он в столовой. Народу было столько, что сидели на стульях, диванчиках, на подоконнике, стояли в дверях. В такой маленькой квартире было человек 40. Читал Маяковский час-полтора, и всё это время мы смеялись, так было похоже и остроумно. Я, например, хохотала до слез.

В конце 29 года Маяковский предложил мне помочь ему в составлении книги рисунков и стихов «Окон сатиры РОСТА». Он достал массу фотоснимков с этих плакатов, но фотографии были такие маленькие, что текст можно было разобрать с трудом, а некоторые только через лупу. Я сидела у него в комнате и расшифровывала эти еле видные строчки. Иногда слов нельзя было совсем разобрать, потому что на некоторых фотоснимках не хватало кусков. Тогда Маяковский присочинял строчки заново.

Этой работой мы занимались несколько дней, приятно вспомнить! Когда мы всё собрали и разобрали, Маяковский написал краткое предисловие, книжка «Грозный смех» была готова к печати. Вышла она в свет в 1932 году, уже после его смерти.

В 1930 году исполнялось 20 лет поэтической работы Маяковского. Когда началась подготовка к выставке, открывшейся затем 1 февраля в Клубе писателей, я, наряду с другими «молодыми рефовцами», много помогала Маяковскому.

Запомнилось, как мы с Владимиром Владимировичем в его комнате на Лубянке выгребали из ящиков письменного стола кучу записочек от слушателей его публичных выступлений, а потом отвезли их в Клуб писателей. Потом мне доверили их разбирать. Было очень интересно читать эти записки. Разбирала я их по темам, и занималась этим не один вечер. Из каких они были городов, установить было нельзя. И, конечно, все записки были анонимные. Были и интересные — о стихах, и наглые, и любовные. Интересно, что некоторые повторялись слово в слово, хотя и были из разных городов. Помнится, Маяковский сказал, что напишет книгу «Универсальный ответ на записки», но, к сожалению, такой книги он не на-

писал. Записки, которые я отобрала по одобрению Маяковского, я наклеивала на большие листы бумаги, а потом на выставочные щиты. Теперь они в экспозиции Музея Маяковского. Вот примеры. «Из каких фондов соввласти вы получаете за агитацию?», «Как вы относитесь к стихам Демьяна Бедного?», «Говорите громче, ничего не слышно в задних рядах, где сидит пролетариат».

Первые издания своих книг для выставки Маяковский привёз из дома. Что-то добавили его мама и сёстры. Многие книги представляли собой библиографическую редкость, одолженные экземпляры были особенно ценны. Каково же было возмущение Маяковского, когда, войдя в одну из комнат, он увидел, что одна из книг пропала. Не берусь повторить слова Маяковского по адресу унёсшего книгу. Но вдруг Маяковский увидел в углу за столиком юношу, читавшего именно эту книгу. Тот так увлёкся, что не заметил вошедшего Маяковского. Владимир Владимирович сразу подобрел, заулыбался, ему стало неловко за свой гнев.

Маяковский сам расставлял книги, организовывал какие-то отделы и разделы, там были и плакаты, и афиши, и фотографии, и документы. Маяковский-поэт и Маяковский-художник за 20 лет работы! Ему помогало много молодёжи, появились добровольные сведущие экскурсоводы.

Празднование этого юбилея в домашней обстановке было решено устроить под Новый год на квартире в Гендриковом переулке. Приглашённых было очень много. Поэт Кирсанов сочинил специальную кантату. После каждого куплета там шёл припев:

*Владимир Маяковский,
тебя воспеть пора.
От всех друзей московских —
Ура, ура, ура!*

Акомпанировал на баяне Василий Каменский. Куплеты пел Кирсанов, а все остальные подхватывали припев.

Потом показывали шарады и инсценировки на тексты стихов Маяковского. Приехал Мейерхольд, и с ним привезли театральные парики, маски, какие-то костюмы и шарфы. Все стали наряжаться, переодеваться, а потом нас всех не то Родченко, не то Третьяков фотографировал. Запомнилась мне Нора Полонская в красном платье, танцевавшая с Маяковским фокстрот. Но Маяковский в тот вечер был не весел.

Совсем нерадостным был он в день открытия выставки в Клубе писателей. Пришла молодёжь — литературные вузовцы, пришли знакомые и друзья. Маяковский и Осип Максимович Брик стояли около лестницы на втором этаже и встречали гостей. Но никого из писателей не было. 20 лет работы поэта Маяковского литературная общественность не отметила своим присутствием.

После осмотра выставки всех пригласили в зал. На сцену вышел мрачный Маяковский. Запомнила я только чтение им поэмы «Во весь голос». В тот вечер я и, видимо, все собравшиеся услышали эти стихи впервые. Обращение к потомкам тягостно поразило многих присутствовавших. Мне хотелось плакать.

В последние месяцы Маяковский был мрачен, неприветлив, он был какой-то совсем другой.

В 1930 году я работала секретарем издания «Клубный репертуар». 24 марта нами был подписан с Маяковским договор на издание его пьесы «Москва горит»,

написанной к двадцатипятилетию революции 1905 года. Вещь эта была им сделана по «социальному заказу» цирка. Он задумал использовать в ней все цирковые возможности, трапеции, воду и прочее. Словом, максимум зрелища, минимум словесного материала. Его очень увлекало в цирке расширение постановочных возможностей по сравнению с театром. Но нельзя было ограничиваться одними эффектами и пантомимой.

— Вошли слова, — сказал он, — и стала меломима.

Редакция «Клубного репертуара» предложила Маяковскому приспособить «Москва горит» и для постановок в клубах.

— Значит, я должен добавить словесный материал и вылить воду? — спрашивал Маяковский.

Но грандиозность темы — революция пятого года — не допускала ограничения клубной сценой, и Маяковский с согласия редакции взялся переработать меломиму для стадиона, для площади, для летней постановки на воздухе. Показательную постановку собрались осуществить в Парке культуры и отдыха в Москве. Действовать должны были драматические и физкультурные кружки клубов. Маяковского это очень увлекало. Он говорил, что сделает такую же вещь к съезду партии. Я спросила, примет ли он участие в постановке. Он сказал:

— Обязательно. Если б даже не пустили — через забор бы перелез и вмешался.

Художник и режиссер начали писать постановочные планы и делать эскизы декораций. Наконец редакция поручила мне съездить к Маяковскому, чтобы он сделал необходимые исправления и подписал рукопись к печати. Я приехала к нему в Гендриков переулок. Маяковский рассеянно посмотрел рукопись, перепечатанную на машинке, подправил восклицательные знаки, но делать исправления отказался. Мы сидели в столовой, он был очень мрачен.

— Делайте сами! — сказал он.

Я смутилась.

Впрочем, несколько исправлений в стихотворном тексте Маяковский сделал сам. Он был в квартире один. Даже домработница ушла домой.

Я торопилась по своим делам. Мы попрощались, и я уехала. Он остался один в пустой квартире. Это было 10 апреля 1930 года. Я отвезла рукопись в редакцию, выпускающий сделал на ней пометки синим карандашом, и в тот же вечер мы отправили материал в типографию.

А 14 апреля утром он застрелился.

Впервые я записала всё, что помню, в 1940 году, через 10 лет после 14 апреля. В 1952 году по просьбе музея В. В. Маяковского я всё объединила в одну рукопись и закончила свои воспоминания датой 10 апреля 1930 года. А потом мне захотелось кое-что добавить. Долго, долго мне не хотелось писать о его смерти, о похоронах. Очень трудно писать, не давая событиям своей оценки, индивидуальной окраски. Постараюсь кратко записать факты.

Тогда, 10 апреля, он был мрачен... Конечно, мне и в голову не приходило, что Маяковский накануне катастрофы. 13 апреля я была в Большом театре на балете. Встретила там Кассиля с женой. Все жили своей жизнью... 14 апреля утром я пришла на работу в редакцию, помещавшуюся во Дворце труда. Когда раздался телефонный звонок, я была в комнатах одна. Звонил мой студенческий товарищ Виктор Горохов, работавший в редакции газеты «Вечерняя Москва».

— Только что застрелился Маяковский, — сказал он.

— Стрелялся? — переспросила я.

— Нет, застрелился. Совсем. Умер.

Я не могла этому поверить. Не могла, как говорится, всем своим существом. Стрелялся — это похоже, но что Маяковский умер, этому поверить я не могла. Я сразу позвонила на квартиру Катанянам.

— Это правда! — сказала Галя. — Вася уже туда выехал.

Не соображая толком ничего, я выбежала из редакции.

Приехала на квартиру. Маяковского только что перевезли с Лубянского проезда в Гендриков переулок и положили в комнате на тахту. Телефон разрывался от звонков. Помню, как в течение многих часов кто попало брал трубку и отвечал: «Да. Правда».

Я так плакала, что всё у меня за этот день как в тумане. Помню, что посылали Брикам телеграмму в Берлин, кого-то посылали за мамой и сёстрами.

Помню, что Коля Денисовский один вошёл в комнату, чтобы снять с Маяковского рубашку в крови, пробитую пулей у сердца, и выйдя сказал всем:

— Теперь пойдите к нему.

Я вошла в комнату Маяковского всего один раз. Он лежал с повернутой чуть-чуть вбок головой. Спокойное лицо. Как будто спал. Потом приезжал скульптор С.Д. Меркулов снимать маску, потом из Института мозга. Помню, как все были подавлены...

Весь день в квартире была открыта дверь. Бесперывно приходили и уходили люди, а в переулке около дома стояла толпа. Поздно вечером, вернее ночью, Маяковского в гробу увезли на грузовике в Клуб писателей на улице Воровского. Грузовик с гробом сопровождала одна легковая машина. Мне запомнилось, как грузовик и мы следом в машине проехали вдоль ГУМа по Красной площади, мимо Мавзолея Ленина. Эту картину — грузовик с гробом Маяковского на фоне мавзолея — моя память сохранила очень отчетливо. Коля Денисовский и ещё, кажется, художник Джон Левин всю ночь оформляли зал, где с утра началась церемония прощания с Маяковским. Стояла и я в почётном карауле...

На фотографиях и в документальном фильме сняты похороны Маяковского. Я помню только Луначарского, Кирсанова... Я стояла в толпе во дворе клуба. Тысячи людей запрудили всю улицу Воровского.

В районе крематория траурную процессию ожидали толпы народа, с траурными знаменами стояли рабочие завода «Красный Пролетарий». Мы стали пробираться ко входу. Где-то наверху, на каком-то выступе стоял высокий Сергей Третьяков. Из типографии привезли на грузовике только что отпечатанную книжку, брошюрку в красной обложке — последнюю поэму Маяковского «Во весь голос!». На третьей странице был его портрет — уже в траурной рамке. И всем, всем, всем прямо с грузовика раздавали эту книжечку. Это первое издание «Во весь голос!» сейчас, наверное, библиографическая редкость. К сожалению, мой экземпляр у меня не сохранился.

В моей жизни Маяковский появился со словами «Товарищ девушка», а ушел из жизни, написав в предсмертном письме: «Товарищ правительство».

Слово «товарищ» было для него очень значимо, он вкладывал в него что-то доброе и уважительное. Мне хочется подчеркнуть это.